

ПОЛЬША 20-ГО ГОДА

3. Гиппиус-Мережковская

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ

<фрагмент>

Париж
3 Июня 1943 г.
Четверг
(Вознесение)

Мне хочется сегодня начать мою тяжелую работу — эту запись. Хотя бы несколько слов написать. Продолжать буду после. Завтра — или через год (е. б. ж., как прибавлял Толстой, начиная что-нибудь писать, — в последние годы. «Если буду жив...»).

Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о нем воспоминания, печатали письма. Последнего я бы не сделала, если б имела фактическую возможность. Я ее не имею — почему — скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых — со дня смерти Дмитрия С. Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем более, что мне кажется, что это произошло вчера, или даже сегодня утром. Вторая причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, мне нужно будет говорить и о себе, — о нас; говорить же о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть. Те, кто читал мою книгу воспоминаний о некоторых моих (и общих) друзьях («Живые лица» — Блок, Брюсов, Розанов и др.), могут заметить, что там я особенно избегаю говорить о себе — да и не там только.

Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливала меня. Но потом я поняла, что, отказавшись от задачи написать то, что от меня ждут, я поступлю эгоистично. И, наконец, если я буду писать свободно, не думая о препятствиях, — кто и что мне может помешать выкинуть из рукописи все, что будет для меня звучать неприятно. На случай внезапной смерти моей — оставлю указания и отметы. Но эта книга пускай будет написана с полной свободой, и ее точное название — ОН и МЫ.

<...>

Бобруйск — маленький уездный городок был нашим первым польским этапом. Насколько комендант пункта был любезен и предупредителен, открывая нам границу (у Дмитрия Мережковского была наготове, как удостоверение личности, вместо паспорта, его книга) — настолько грубы и ненавистны ко всяким беженцам из России низшие служащие. В этом мы и после имели случай убедитьсяся. Тут, в Бобруйске, в какой-то контрольной станции, нас продержали на тюках целый день, продержали бы, пожалуй, и ночь, не вызволи нас оттуда молодой бобруец (русский) Иван И. Дудырев, незнакомый нам, но нас знавший. Он нас освободил, устроил, потом даже в Минск с нами поехал.

Устроились мы уж как бог послал и прожили в Бобруйске дней десять. Из старых газет мы едва начинали понимать, какая чепуха происходит в Европе. Мы ведь были совсем дикие. Первые магазины в Бобруйске привели нас в столбняк. Володя З., наш молодой спутник, с открытым ртом остановился перед выставленными в окне чулками и произнес с удивлением:

— Ведь их — можно купить!

Через бобруйскую улицу мы боялись переходить, точно это была Avenue de l'Oréga: лошади ездят! Дм. Фил-ов (Дима) едва решился отправиться к открытому им парикмахеру и расстаться со своей окладистой бородой, совершенно его менявшей. В офицерском клубе, куда нас пригласили на большой обед, мы с недоверием и почти с ужасом глядели на белый хлеб и на яблоки, точно это были плоды нового, иного мира. Вообще Бобруйск, после Петербурга, казался нам верхом благоустройства и культурной жизни.

В Минск мы добрались, благодаря любезности польских властей, в воинском поезде. Поселились в гостинице «Париж», довольно-таки разрушенной сначала немцами, а потом, главное, большевиками. Но одно сознание, что их здесь уже нет, делало для нас этот убогий «Париж» парадизом.

Общее положение наше было такое: мы все, прежде всего, были заряжены стремлением бороться с большевиками. То, что мы знали о них, поняли, весь наш опыт, вечная мысль об «оставшихся» — это, само по себе, делало невозможным наше молчание. Белые булки, молоко, шоколад, — мы не радовались им, не накидывались на них; мы были к ним или равнодушны, или казались они нам противны и пр е с т у п н ы, если признать, что мы спасли свою шкуру и ничего не делаем против большевиков.

И тут же мы были нищие. Несколько «думских» тысяч, спасенных от Янкеля и сохранившихся в подкладке чемодана, старое платье, равное белье, черная тетрадка моего дневника последних месяцев — вот все, что у нас было. К счастью, было еще «имя» Д. Мережковского. Мы очень надеялись на него, однако сам Дмитрий понимал, что нам нужны другие помощники, единомышленники. Кто мог быть таким помощником? Вспоминая всех наших друзей, в России, друзей из Вр. Прави-

тельства и «революционеров», которые, конечно, были теперь в Европе, вспоминая все предбольшевистское время с этим страшным делом Корнилова, — на кого мы могли надеяться? Не на Бунакова же с его партией, где он сидел, по его словам, рядом с «негодяем» Черновым. Естественно, что таким единомышленником нашим м о г быть один Савинков. Мы его знали годы, в такое, правда, время, но знали и вот эти месяцы перед самым переворотом; знали близко его роль в деле «Керенский—Корнилов»... Недаром же за смелое и верное поведение его в этом деле из «негодяйско-черновской» партии его исключили.

А тут, кстати, мы узнали, что в январе Савинков с Чайковским приезжали в Варшаву, уехали в Париж, но весной должны были приехать снова. С Чайковским, старым лондонским эмигрантом, мы знакомы не были, но много о нем слышали. Что он приезжал с Сав., и в Польшу, единственную страну, с большевиками воюющую, был хороший знак. Но сведения об их приезде имелись смутные — какая все-таки позиция Савинкова? Зачем он приезжал в Варшаву и приедет ли весной? Помня парижский адрес Евг. Ив-ны (его жены), мы послали ему телеграмму. Послали телеграмму молодому Юзефу Чапскому, мы его знали по Петербургу. Высоченный, тонкий юноша, он приходил к нам, в большевистское уже время, в тулупе, зная Д. С-ча по его книгам. Показался нам очень симпатичным, хотя не очень понятным. Оказывается, он, польский офицер, самовольно, идейно отправился тогда в Петербург, да еще с двумя своими молодыми сестрами, не то исследовать русскую революцию, не то соблазненный ею. Скоро, конечно, опомнился и вернулся в Варшаву. (Мы там его встретили потом, опять в армии, но не офицером, а просто солдатом пока.)

От Савинкова получили ответ, мало поясняющий, но с заверением, что в Польшу приедет, и с вопросом о его детях (от первой жены, Веры Глебовны, которая уехала с ними в Россию, когда он влюбился в Евг. Ивановну).

Сына его в России мы не видали, а дочь Таню я помню. Большевики, конечно, не оставили семью Савинкова, хоть и старую, в покое. Эту несчастную Веру Глебовну они арестовали сразу. Таня (ей было уже лет 16) несколько раз приходила к нам. Рассказывала, что всюду толкалась, хлопоча за мать, была у Горького даже, но, хотя сидела долго на ступенях его лестницы, ее не приняли. Просила нас написать ему письмо. С письмом, может, примет. Так как к Горькому уже с хлопотами за того или другого обращались и Д. С., и Дм. Вл., то теперь пришла моя очередь. Села писать, как мне это было ни трудно. «Алексей Максимович...» ну а дальше как? Дмитрий меня подбодрил: «Ничего, все мы теперь на это обречены...» Я вспоминаю, что был слух, что Розанов расстрелян и, хотя я не верю, решаюсь и этот слух кстати Горькому на вид поставить. Особенно противно писать мне Горькому еще потому (хотя сама не понимаю, какая тут связь), что он бывал у нас во время войны и сказал однажды, что пленен моими стихами и хотел бы их издать. Все равно, письмо было написано, Тане вручено. Слышали потом, что мать ее выпустили (до следующего, вероятно, ареста), а Розанову, на-

ходившемуся тогда в последней нищете, Горький даже послал какое-то вспомоществование.

Последнее время Таню мы не видели. Она была очень мила, и в обожании своего отца. Бог весть, что в конце концов с ней случилось. Савинкову мы так неопределенно и ответили, а пока, и в Минске, не пришлось сидеть сложа руки. К нам стали приходять разные люди, и у Дмитрия С-ча явилась мысль устроить здесь ряд лекций о большевизме. Русское минское общество, глубоко провинциальное, поразило не этим, а — ненавистью к полякам! К освободителям Минска! Это было для нас столь дико, что мы не могли опомниться. А когда опомнились — стали в определенную позицию.

Конечно, поляки, особенно низшие служащие, вели себя по отношению к русским глупо. Ненавидели их наравне с евреями и держали себя подчас как завоеватели. Но это была мелочь, это было ничто перед тем ужасом, от которого поляки избавили Минск, взяв его у большевиков. (Теперь, когда я это пишу, когда Минск отдан «Советам» и они там по-своему распоряжаются, что поделывает, если жив, И. И. Метлин, упрекавший нас в «полонизме»? Поляки, мол, русского языка лишили! Не лишили ли его теперь большевики — всякого?)

Был там и кружок уже совершенно правых «остатков», — и с ним мы меньше общались... А епископ Мелхисидек, молодой, болезненный, красивый, был везде центром обожания. Да он и в самом деле не без интереса. Держал себя с польскими властями очень тактично. Приятно удивлял стремлением к «современности». Напомнил мне лучших иерархов Петербурга времени первых Рел. Ф. Собраний. Интеллигентен. И с этим несомненное религиозное мужество при случае — подвижничество. (Наверно, его нет уже, после взятия Минска, в живых, но я не сомневаюсь, что он до конца держал себя достойно.) К нему я еще вернусь, а пока продолжаю нашу историю.

Очень скоро состоялась наша лекция, всех четверых, в Городском Театре (как раз против нашей гостиницы). Устраивали ее заведующие русской Пушкинской Библиотекой (д-р Болоховец — очень милый). Наплыв народа был такой, что мы, придя в театр, не могли пробраться и уже хотели идти назад. К толпе у нас остался особый ужас. Но после скандалов, криков полиции — прошли, наконец. Вся снежная, темная площадь была запружена не попавшими. Мы решили эту лекцию повторить.

Среди кучи всяких людей, стремящихся в нашу гостиницу, к Мережковскому, не из последних был редактор местной русской газеты «Минский Курьер», некто Гзовский. Московский поляк, мелкий репортер, помывкавшийся по свету. При большевиках был в большевистской газете, возможно, шпионил полякам (мог бы, при случае, и обратно). Громадного роста, с зычным голосом, довольно определенный хам, притом захолустный (уж был ли он в Москве?). Он тотчас сообразил, как выгоден ему приезд литераторов, да еще Мережковского. Решил его использовать, принялся за нами ухаживать, печатать всякие интервью и собственные статьи о Дм. Серг-че, — презабавные, как, на-

пример, одна: «Ублюдок и Титан» (Ленин и Мережковский). Мы отлично видели все и смеялись над его грубыми ухаживаниями, которые были бесполезны: и без них мы, одичавшие, оголодавшие без «слова», заряженные Совдепией, пошли бы на буро-желтые страницы его убогого «Курьера». Он сейчас был ярко антибольшевистский, чего же еще нужно?

Ко второй лекции мы уже не жили в «Париже». Дм. С-ча и меня Мелхисидек устроил в Женском Монастыре, в доме игуменьи. Две комнаты на второй половине домика, уступленные жившей там М. Алекс. Гернгросс (очень милая дама из высшего о-ва, поклонница Мелхисидека). Дима (Дм. В. Фил.) переехал на другой конец города, к Хитрово, а Володя Злобин нашел приют за рекой, у сестры игуменьи, самой простецкой и довольно сварливой бабы.

Совершилось наше первое разделение.

Это чисто внешнее разделение Д. С-ча и меня с Дм. Ф-м мне, однако, не нравилось. Дело в том, что крепкое наше содружество, сотрудничество в единомыслии с начала войны стало ослабевать. Первая причина — сама война, несходство отношения к ней. Февральская революция (для нас с Д. С. она была неизбежна, мы только боялись, не превратится ли она в какое-нибудь чудовище хаоса), эта революция могла бы нас опять сблизить, но пока и я и Дм. С-ч, видя опасность, до последних дней пытались что-то делать, помогать без разбора всем, кто только был против большевиков (Д. С. — Филоненке, я — манифестами с-рам, и оба мы — Савинкову) — Дм. Вл. Ф. сразу погрузился в полное отчаяние.

Большевики, наша общая ненависть к ним (соединяла ли кого-нибудь ненависть?) только углубляла трещину между нами. При каждом наступлении белых генералов, когда мы говорили, что ничего не выйдет, что нужна «третья сила», начиналось раздражение:

— Ну и создавайте эту «третью силу!» Ее нет — и пока — молчите, не каркайте, не смейте «о них» говорить.

Мы понимали, что у него было и личное страданье — гибель трех сыновей любимой сестры, — но все же его ожесточение и пассивность казались мне чрезмерными. С пассивным отвращением соглашался он на отъезд. Можно сказать, что Дм. Серг. н а с и л ь н о увез его, так он был инертен и безучастен.

Но с переезда, особенно с Минска, у нас оказалась как будто одна и та же «политика». Не сговариваясь, мы одинаково отнеслись к Польше, к полякам. Д. Ф. напечатал у Гзовского, что спор о границах 72 года сейчас спор праздный, абсурдный и преступный, — пусть эти границы только справедливость, — мы оказались на той же позиции. Польша одна боролась против большевиков. Мы должны были быть с Польшей. И были с ней по всей совести.

К приезду Сав-ва Д. Ф. относился теперь тоже положительно. Однако нам всем троим надо было бы чаще видаться, говорить о лекции, об очередных статьях... Вот потому внешнее наше разделение мне и не нравилось, Д. Ф. не мог всякий день приходить в монастырь.

Вторая общая лекция тоже прошла с успехом, — публичным, — ибо минское общество начинало уже коситься на нас за полонофильство. Зато было громадное собрание у еп. Мелхисидека, где мы опять все читали. Он очень хорош, Мелхисидек.

Между тем поползли слухи о мире с большевиками. Потом, к счастью, заговорили о срыве мира. Что за ужас был бы этот мир! Не говоря о нас, но для самой Польши! Но она явно не знает еще этого, не знает и не понимает — большевиков.

Поезда в Варшаву не ходили, мы оставались в Минске. Дмитрий стал готовиться к третьей лекции, уже только своей и чисто польской — о Мицкевиче.

Помню розовые утренние рассветы в оснеженное окно моей монастырской комнаты. Стена собора, в саду, вся в заре. Сны, от которых плачешь, просыпаясь. Все то же, все о тех же... Если очень громко плачешь — Дмитрий будит из соседней комнаты.

И опять засыпаешь, пока, совсем утром, не внесет мать Анатолия, самая благообразная из монахинь, самоварчик, не подымется Дм., собираясь идти в холодную ванну умываться.

Днем — люди. Вот генерал Желиговский. Умный, удивительно приятный, все понимающий. Он первый как-то оформил нашу задачу.

— Поймите, — говорил он, — здесь нет никого ответственного и разумного из русских людей, с кем поляки могли бы разговаривать и кому могли бы доверять. Отношение к Польше парижских представителей несуществующих русских правительств вам известно. Если бы они даже были здесь — из этого ничего бы не вышло. Ожесточенье поляков против русских огулом вполне понятно, хотя и не разумно.

Неудачи русских генералов меня не удивляют. Я сам генерал русской службы, я знал многих и знаю, почему в борьбе с большевиками они успеха иметь не могут. Генерал должен быть, вы правы, но генерал не может соединять в себе военную и гражданскую власть. Возвращаясь к Польше, которая сейчас одна могла бы серьезно помочь борьбе с большевиками, да фактически одна сейчас и борется с ними, я повторяю, что таких русских антибольшевиков, с которыми она могла бы соединиться, здесь нет. Н а м н е с кем разговаривать. Вы первые русские люди, точка зрения которых нам не внушает недоверия. Вы поняли, как болезненно отношение Польши к России. Границы 72 года... Какой разумный поляк будет претендовать на них фактически? Но это вопрос чести. Это — п е ч к а , о т к о т о р о й н а д о т а н ц о в а т ь. Отказ русских от насильственных действий царского правительства против Польши, начиная с 72 года. Момент восстановления справедливости — честное — от начала разговоров Польши и России на основах взаимного доверия. В Польше нужно создать русское правительство, которое Польша желала бы видеть в России у власти, после свержения большевиков.

Вот, собственно, суть наших разговоров с ген. Желиговским. Нечего подчеркивать, что мы отлично понимали друг друга. Мы были еще только в Минске, мы не знали ни варшавских настроений, ни положе-

ния Польши и ее правительства, не знали детально ни соотношения сил партий, не уясняли себе, что за личность Пилсудский (не Керенский ли, думалось порою, читая влюбленные письма молодого Чапского), но главная суть дела была ясна. Ген. Желиговский только утвердил общую нашу линию.

Он тогда занимал важный пост в Минске, где сумел себя отлично поставить. Бывал на каждой нашей лекции.

Внешним образом тоже помогал нам во всякой возне с бумагами, с пропусками и т. д. Часто приезжал в монастырь. Иногда присылал рослого своего адъютанта (который потом, при отъезде нашем в Вильно, и провожал нас на вокзал, на автом<обиле> Желиговского). О Желиговском, когда мы расстались, осталась у нас память как о первом польском друге, умном, сильном и надежном.

Лекцию Дм. С. о Мицкевиче Пушк. Библиотека отказалась устраивать, — все из-за полонофобства, — устраивал, частным образом, доктор Болоховец.

Ив. Ал. Дудырев, молодой русский бобруец (тот, что спасал нас в проклятой «контрольной станции»), последовав за нами в Минск, пристроился тоже в монастыре, в передней у «матушки» (вот халда, не тем будь помянута!) и уж стал тихо мечтать о монашестве... Я в шутку звала его «сыном монастыря», как бывает «дочь полка».

Так мы жили. Утром, бывало, матушка игуменья пронзительным голосом ругается в коридоре, разносит монашенок, а под вечер приезжает Мелхисидек, и начинаются, под его аккомпанемент на фисгармонии, на половине «матушки», акафисты Иисусу Сладчайшему, — длинно-длинно, нежными женскими, будто ангельскими, голосами.

Мы с Дм. С. были на торжественной всеобщей накануне престольного праздника нашего монастыря. (Собор сохранился, но был без креста, большевики успели снять.)

Я понимаю интуитивное обожанье, которое вызывает к себе Мелхисидек. Его голос, его возгласы напомнили мне очень живо... Андрея Белого, когда он читал — пел свои стихи. Так же поет Мелхисидек, только божественные слова. Служит всеобщую, как мистерию. А когда, в конце, вышел в голубой мантии, шлейф которой несли за ним к дверям, было и в самом деле поразительно.

Мирра у них не было, просто деревянное масло, и я для этой всеобщей отдала матери Анатолии по ее просьбе последние капли духов «*Cœur de Jeanette*» *.

Болезненный Мелхисидек неутомим: по 6—8 часов на ногах, в долгих службах.

Любит стихи. Очень был тронут, что я ему своей рукой переписала те, которые читала на его вечере. Трогательно боится своего воспитанья, заботится, как бы ему с нами не показаться «кутейником». Но он очень культурен. И религиозно-культурен.

После лекции Дм. С. о Мицкевиче (тоже совершенно полной и в присутствии представителей польской власти) мы решили уезжать. Поляк

* «Сердце Жанетты» (фр.).

Ванькович обещал поместить Дм. С-ча и меня у себя. Желиговский устроил удобный проезд.

В поезде мы встретились с французом, полковником Belgrand. Потрясла чуждость европейцев. Мы — еще «оттуда», мы все помним, знаем, а он говорит, как ни в чем не бывало, «*Les bolcheviks?*» утешал нас. Ну что ж, вы забудете, *peu a peu, le printemps viendra...* * говорил о Leonard de Vinci...

И ведь милый человек!

В Вильно мы сначала остановились в гостинице — грязной, разрушенной, как все. Дима и Володя там же, на другом конце коридора.

Тотчас же началась подготовка к лекциям. И приходясь всяких людей. Явился Ванькович, и дня через три мы с Дм. Серг. переехали к нему на квартиру, в две очень приятные комнаты. Как раз напротив гостиницы, где остались Дима с Володей.

Русских в Вильно мы встречали не много. Главное — польское общество. Наш старый знакомый и друг, Марианн Здоховский, профессор Виленского университета, устраивал у себя постоянные, очень интересные, собрания. Собственно, только с Вильно мы начали понимать польское общество и польские настроения. Хотя это были круги скорее правые, но их надо было группировать иначе, не по-русски, а как-то по-новому. Приходилось считаться с несколько странной ситуацией. Правительство (Пилсудский) — левое, страна молодая, вдрызг разоренная войной, едва возникающая; традиции старые, дворянство старое; древняя ненависть к России-поработительнице; всеобщий патриотизм — и антисемитизм.

Разобраться было трудно, ибо везде мы наталкивались на противоречия; но раз поняв общее, уже оказывалось просто брать частное.

Тут, у Мар. Здоховского оказалась и старинная, еще по Парижу, приятельница наша, княжна Стазя Грузинская. Уже католической монахиней (в светском платье). И униат Диодор, тоже ксендз теперь, бритый, с виду мальчик. Стазя долго сидела в большевистской тюрьме, с проститутками и уголовными, за христианское рабочее братство. Только приход поляков освободил ее.

Наша общая лекция была прочитана в громадной длинной зале с колоннами, при таком стечении публики, что выломали стеклянную дверь, был шум, и полицмейстер выбегал каждую минуту.

Вторая лекция Дм. С-ча о Мицкевиче попала под бойкот евреев. Все билеты в той же гигантской зале были заранее раскуплены, так, что не попало много поляков, а зала была на треть пуста.

Таким образом, Дмитрий уже сделался поводом усиления раздора между евреями и поляками.

Собрания у Здоховского продолжались вплоть до нашего отъезда в Варшаву. Бывало много католиков, ксендзов и прелатов.

* Мало-помалу, придет весна... (фр.).

Познакомились мы с очень милым благородным французом, членом военной миссии, d'Aubigny, через которого сносились с Парижем. Знали, что Савинков еще и не думает ехать в Варшаву, хотя я часто об этом писала, Дм. С. и Д. Ф. делали к моим письмам свои приписки.

В Вильно Д. Ф. опять погрузился в свое раздраженное уныние, без видимой причины. Мы с Д. С. надеялись, что в Варшаве это опять у него пройдет. Затруднение было — где жить в Варшаве? Она переполнена. Юзик Чапский писал, что хотел устроить нас в пансионе, но потерял надежду. Наконец Любимова, сестра известного Тугана-Барановского, наша знакомая, бывшая варшавская губернаторша, ныне дама-патронесса разных «Крестов», дала нам знать, что приготовит нам «deux petites chambres mauvaises» * в гостинице «Краковской».

В Вильно снег уже не лежал, когда мы уезжали. Грязь по колено, ветер, дождь. А ехали мы — в первый раз в почти нормальном Sleeping'e! ** Удивлялись и даже боялись.

В Варшаве нас встретило солнечное, ветреное, сухое и холодное утро. Была уже половина февраля.

«Краковская» гостиница на Белянской (еврейский квартал) оказалась не особенно лучшим притоном, нежели корчма Янкеля в Жлобине, где мы ждали переезда границы. Нас и туда долго не хотели пускать; наконец, благодаря еврею, фактору Любимовой, дали комнату для двух, обещая (уклончиво) дать к вечеру другую. Пока же мы поместились в этой все четверо, в одной (как у Янкеля). К счастью, был день.

Дм. Серг. с Володей поехали в Центро-Союз, где, как Дм. С-ча известили в Вильно, были получены деньги от шведского издателя Бонье (он еще в Минске, узнав, что Мережковский в пределах досягаемости, телеграфировал ему, с просьбой прислать текст новой своей работы и обещая спасительный аванс).

Мы с Д. Ф. вышли просто на улицы Варшавы. Снегу не было и помина. Чисто, сухо, довольно холодно. Незнакомая Варшава казалась чужим и неприятным Парижем.

Выйдя на Краковское предместье (главная улица), решили поискать Любимову. Она оказалась тут же, против почты с глобусом наверху.

Ее квартира возбудила во мне зависть. Но какую-то равнодушную. Давно уж стало как-то все равно все внешнее.

Сам Любимова оказалась не той сестрой Тугана-Барановского, которую мы знали ближе, — второй. Полная, довольно красивая, представительная и, по всем видимостям, очень «деловая»: она и в Комитете, она и в Кресте, она и с американцами, она и с евреями, она — везде. Приглашала нас к себе — знакомить со «всеми».

Сразу почувствовалось, что тут разные сложности и не без чепухи.

К вечеру мы еще были в той же несчастной комнате — вчетвером. Пришел Юзик Чапский, милая, нелепая дылда, солдат. После своей

* «Две маленькие скверные комнатки» (фр.).

** Спальном (вагоне) (англ.).

эскапады в Петербург он вернулся в собственный полк, но не офицером, а пока солдатом. Он ребенок-мечтатель, но очень глубокий, кажется. Типичный поляк, с лучшими их чертами. Влюблен в Пилсудского.

Поздно вечером Диме и Володе дали маленький номер в конце холодного и вонючего коридора. Мы с Дм. С. остались в этом, первом номере (42), выходящем на лестницу.

В нем, в комнате с двумя кроватями у двери, с грязным умывальником и единственным столом, с окнами на шумную еврейскую улицу со скрежещущим трамваем, с криками евреев за тонкой стеной в коридоре, где как раз висел телефон, мы прожили с Д. С. больше двух месяцев. Здесь же мы готовились к нашим лекциям, здесь писали и книгу (поочередно, т. к. стол один), здесь принимали толпу разнообразного народа — русских, поляков, интервьюеров, послов, людей всех направлений и всех положений.

Кофе утром варила я, Володя приносил нам хлеб и молоко из нижней еврейской цукерни Студни, где они с Д. Ф. по утрам сидели. В 3 часа бледный наглый кельнер приносил нам обед (Д. Ф. обедал где-нибудь в городе), а вечером тот же Володя опять из Студней — ййца. Когда за стеной утихал наконец телефон, ночью мыши поедали с гвалтом крошки и пытались откупоривать банку с запасным конденсированным молоком.

После обеда Дмитр. Серг. уходил хоть немного отдыхать в номере 35-й (Д. Ф. и Володи), а мы оставались втроем у нас. Это принужденное сиденье без дела и возможности одиночества вспоминается особенно тяжело.

Бесполезно описывать подробно эти месяцы. Важно наметить общую черту и поставить главные вехи наших этапов.

Были, собственно, две линии: русская и польская. В «Русском Комитете» — русский агент Кутепов (не генерал), ставленник и представитель несуществующего русского правительства в Париже Сазонова, ненавистного всем без изъятия и находившегося накануне исчезновения. Этот Комитет тоже находился в стадии кризиса. Искрицкий уходил, делами заведовал какой-то Соловьев, сладкая и малоизвестная личность.

Вскоре после нашего приезда всех нас в «Р. Комитет» пригласили на торжественное заседание. Мы там без стеснения гнули свою линию среди невинной, но раздражающей чепухи Семенова и еще кого-то вроде. К удивлению, весь Комитет, под председательством Соловьева, присоединился к нам. А старик генерал Симанский проявил даже некий пыл.

Мы, однако, старались главным образом выяснить, на какой позиции стоял приезжавший сюда Савинков с Чайковским. Соловьев сказал, указывая на Дм. С-ча и на меня:

— Вот на этом месте сидел Чайковский, на этом Савинков. И говорили они совершенно противоположное тому, что говорите вы.

— Как? — закричал Дм. С. — Совершенно противоположное? Значит, Комитет был с ними не согласен?

Но Комитет, оказывается, был согласен и с ними, как с нами, хотя мы и говорим «противоположное». Не угодно ли понять?

С нашими лекциями мы не торопились. Хотелось сначала присмотреться, уяснить себе расположение шашек.

Отношение к русским — не к нам лично, а вообще — было, действительно, неважное. Это, впрочем, естественно. Не говоря о прошлом, и здешние русские сами были неважные. Да и вели себя из рук вон плохо. О Кутепове, оригинальном «представителе», я уж говорила. Польское правительство смотрело на него крайне недоброжелательно, едва его терпело. Он ровно ничего не делал да был и бессилён.

Имя Дмитрия Серг-ча, кроме всяких интервьюеров, корреспондентов и т. д., скоро привлекло к нам польскую аристократию, всяких контов и контесс, а также послов и посланниц. Помогали и обрусевшие поляки (сделавшиеся теперь самыми польскими поляками). Милейшее дитя, москвич Оссовецкий (притом ясновидящий), *enfant terrible* и знающий всю Варшаву, очень был хорош. Надо сказать, что почин «Русско-Польского О-ва» принадлежит ему.

Положение было такое, что граф Тышкевич, например, в первые свиданья с нами не говорил иначе, как по-французски; и Дм. С. долго обсуждал с ним, не читать ли ему свою лекцию о Мицкевиче на французском языке. Этот же Тышкевич, председатель «Русско-Польского О-ва», со смехом вспоминал последнее время сомнения Д. С-ча. Говорит по-русски, как русский.

Лекция и была прочитана по-русски. Имела громадный успех. Присутствовал весь цвет польского общества, с контессами и с военными кругами. (Лекции и Д. С-ча, и наши общие были на «Корове», в белой зале Гигиенического О-ва.)

Отмечаю, что в Польше нет единства. Аристократические круги, естественно, более правые. Очень сильна партия низов, так называемая П. П. С. Она не правительственная, но полуправительственная, ибо из ее истоков — Пилсудский. Казалось, однако, что умный молчаливик стал от нее уже освобождаться, опираясь на военные круги, на армию, где имел громадное личное обаяние.

Влюбленный в него (издали) Юзик Чапский старался соединить нас с его кругами. Привел к нам Струка, очень приятного, тихого, но, кажется, хитрого, — польского писателя, друга Пилсудского. Но из двухчасовой беседы с ним нельзя было вынести ничего определенного.

В Польше ощущение ненадежности, нестроения, разорения; и все-таки есть известная степень устойчивости: надо вспомнить, что перенесла она во время войны, как недавно существует, да еще в соседстве с большевиками. А они на пропаганду не скупятся.

Но Д. Серг. сказал, после одной беседы с очень умным поляком, что Польша может погибнуть, если не победит свою вековую ненависть ко в с я к о й России, без разбора, и будет послушным орудием в руках западных держав, которые ее создали, правда, но довольно как-то глупо

и не в ее же интересах! И мало ли что могут они ей приказать! Но поляки не дальновидны.

А что нас касается — близость большевиков физически нами ощущалась. Например, непрерывные, иногда совсем неожиданные, забастовки. Раз мы вышли, чтобы идти к Лесневскому (русский поляк, женатый на русской, милый, но неврастеник), была электрическая забастовка, и темная», кишащая темным народом улица производила такое «напоминающее» впечатление, что Дима Ф. внезапно повернул назад: «Не могу!» И вернулся бы, если б не уговоры Чапского, да и я чуть не насильно повлекла его вперед.

Когда мы возвращались — огни уже пылали. И странно был освещен внутри пустой, бескrestный Собор на площади: забыли погасить, и он, запертый, сам зажегся, когда кончилась забастовка.

Хотя ни у кого из нас не было «своего угла» и мы по-настоящему редко «виделись», — я не могу сказать, что в это время мы трое не были вместе. Д. Ф. не ходил с нами к послам и контессам, больше был с русскими, но польско-большевистская линия у нас была общая, и какие-нибудь свиданья более важные происходили в присутствии всех троих.

Бывали мы у профессора Ашкинази, еврея-ассимилятора, близкого к правит. кругам. Надо учитывать силу польского антисемитизма, Ашкинази же и в аристократии и в народе. Левое правительство, близкое к П. П. С.-а (а в этой соц. партии не мало Перлов и Диамантов, газета же их «Robotnik» то и дело впадает в большевизм), правительство — единая защита евреев.

У Ашкинази мы видели и директоров театра — и министра Патека, и писателей — и генералов. Сам Ашкинази — его не разберешь, хитрый, должно быть, — защищал нашу позицию как будто. Яростно против мира Польши с большевиками.

(Между прочим, у него оказалось (?) наше письмо Керенскому, после корниловской истории, где мы убеждаем его «скорее отказаться от престола». Это письмо, моим почерком написанное, запечатанное моей печатью, кто-то привез Ашкинази после разгрома Зимнего Дворца. Кто — он не сказал.)

Упорно работая в польских кругах против мира с большевиками, долбя все по тому же месту, мы ждали Савинкова. Писали ему. По ответам выходило, будто он все понимает, как мы, но что-то приехать сюда ему мешает. В это время ликвидировался Деникин, что на нас мало производило впечатления: с лета 19-го года, еще в Совдепии, мы видели его гибель. Нужно было другое, совсем другое. И сейчас — отсюда, из Польши.

Каждый день Дм. С-чу носили какие-нибудь карточки, кто-нибудь просил свиданья. Раз слуга из гостиницы сказал, что нас просит о свиданьи генерал Балахович. Проездом остановился в «Краковской», хочет дать нам какие-то «документы». Дм. Серг. сомневается, Д. Ф., сочувственный движению «белого», отмахивается от этого «кажется, разбойника», но я, вспомнив всякие слухи, проклятия большевиков, Юдени-

ча, Псков, все непонятное, темное, — с интересом настаиваю на Балаховиче.

В сумерки он является.

Мы были сначала все трое. Через час Д. Ф. ушел, а Дм. С. то уходил, то опять приходил, утомленный. Я сидела все время, часа четыре, если не больше.

Небольшой, молодой, черненький, щупленький и очень нервный. Говорит все время. Вскрикивает, опять садится.

— Я ведь генерал. Я зеленый генерал. Скажут авантюрист? Но борьба с большевиками — по существу авантюра. У меня свои способы...

И его способы, чем дальше он говорил, казались мне недурными, пожалуй, и действительными, ибо тоже большевистскими.

— Только мой один отряд Эстония выпустила вооруженным. Мои люди отказались разоружаться. В апреле я с ними опять иду на большевиков. Мне все равно, хоть один — но на них. Поляки возьмут меня. Отряд уже в Брест-Литовске, я увижусь с Пилсудским и еду тотчас в отряд. Потом опять вернусь. Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело...

Да, он может быть н у ж н ы м, хоть и может оказаться страшным, если на него положиться и оставить его распоряжаться. Он — орудие, он — может, хорошо приспособленный к большевизму, к большевистским лбам, но какая крепкая рука может держать этот молот, где она?

Балахович — интуит, дикарь и своевольник. Ненависть к большевикам — это у него пламенная страсть. Но при том он хитер, самоуверен и самолюбив. Совсем не «умен», но в нем искорки какой-то угадки. Он, конечно, разбойник и убийца, но теперь, по времени, после этих лет сплошной крови, не страшнее ли, не грешнее ли Сережа Попов, смиренно-нежный толстовец?

Во всяком случае, Балахович — генерал с «изюминкой».

Долго и путано рассказывал, как он арестовывал Юденича. Понять в этом истерическом рассказе я ничего не поняла или мало, но сознаю, что была на стороне Балаховича, а не Юденича.

До мая мы прочли две общие лекции, и две прочел Д. С-ч, не считая сообщений в частных кружках. Все лекции — битком, а настроение очень хорошее. Дима читал наиболее вяло. Он тянулся к русским. И вскоре был выбран председателем «Русского Комитета». Это мне не очень нравилось, что я ему и сказала раз — мы ехали вдвоем, в теплый солнечный день, в кружок «мессианистов». Но Дима уверял меня, что это дело его не свяжет, что это работа попутная, и нечего бояться, что он «засосется в русском болоте», в мелочи уйдет, как я его предостерегала. Все, мол, это лишь «пока», хорошо, посмотрим. А мессианисты... тут много своеобразно-любопытного, но мне некогда останавливаться.

Знакомство с Булановым и Гершельманом... Из русских — единственные, с которыми мы сразу почувствовали сходство и возможность будущей работы.

Мысль о собственной газете уже возникла. Единственная русская газета в Варшаве была «Варшавское Слово». Мы уже в Минске знали, что ее называют «поганкой». Заведовал ею какой-то еврей Горвиц, газета большевичничала всю, личность Горвица была крайне темная. Мы не могли понять, как ее не пристукнут. Но Горвиц услужил и правой партии, — «страже крессовой», ею был даже субсидируем *.

Горвиц однажды вполз-таки к нам в комнату (достаточно взглянуть на него!), начал было ругать Савинкова, а когда мы обошли с ним как нельзя холоднее, принялся в газете ругать и нас, с некоторой, впрочем, опаской.

Толки о нашей газете с поляками, потом у Оссовецкого... Тут и было зарождение «Польско-Русского О-ва».

Вендзягольский (адъютант Пилсудского) вернулся из Парижа, привез особое письмо мне (нам) от Савинкова. Писал, что «вполне с нами». Что когда был в Варшаве, то с о г л а с и л с я с П и л с у д с к и м... (Подчеркнуто, но какого рода было соглашение не сказано.) Далее, что Чайковский поехал к Деникину, и до его возвращения и его информации «ехать в Варшаву нет смысла».

Дм. Серг. удивленно рассердился: какой еще Деникин! Да, тут же, через Вендзягольского же, получили мы и прочли отчаянную информацию с юга Чайковского. Деникин кончался. Чего ждал Савинков?

Наступила между тем жара. В нашей грохочущей и вонючей комнате в «Краковской», из которой выбраться мы потеряли надежду, становилось жить довольно нестерпимо. На измученные лица Дм. С-ча и Димы жалко было смотреть. Милый Юзя Чапский стал умолять нас поехать отдохнуть в имение Пшеволоцких, его зятя и старшей сестры, — в «Морды». (Семья Чапского, его сестры — это особая прелесть.)

Я, конечно, очень хотела увезти обоих, и Д. С-ча, и Диму. Но Дима нервничал и все мрачнел. Чувствовалось, что держится сутолокой, мелкими делами, работой (положим, и я тоже) и что он не поедет. Раз Чапский по-детски восторженно описывал, как хорошо в «Мордах», как теперь там цветут сирени... Д. Ф., вдруг вспыхив, закричал:

— Не могу я, не нужны мне эти графские сирени!

И я поняла, что его нужно оставить.

Все эти две недели в «Мордах» — действительно: сирень, сирень кругом, и днем и ночью пенье соловьев в сиренях. Милая, нежная, сама как сиреневая ветка Рузя Чапская, младшая сестра. Красивая Карла в предчувствии материнства. Помещичий быт польских аристократов.

Но как я понимаю Диму! Разве можно отдыхать, разве можно — нам — «отдохнуть»?

Единственно, что меня поддерживало, — усиленная работа над нашей запроданной книгой о большевизме. В «Мордах» я свое почти кончила. (Совсем кончила в Данциге.)

* Только через несколько лет Горвиц был разоблачен как платный московский агент и даже судим.

Долго сидеть в «Мордах» не приходилось уже потому, что готовилось торжественное событие — первый ребенок Карлы. Да мы и так уже назначили день отъезда, ибо Дима писал, что в Варшаву приехал Родичев (умеренный думец, раньше мы его не знали) и затем какой-то посланец от Савинкова из Парижа, Деренталь, который должен переговорить с Пилсудским и дать знать Савинкову, когда приехать. Об этом Дерентале мы раньше и не слыхивали. Д. Ф. писал, что это «человек довольно серый».

Ясно, из каких-нибудь савинковских «поклонников», вроде совершенно идиотического Флегонта Клепикова. Савинков, увы, таких любит, ему все равно, кем помыкать... Вот его беда...

С газетой, пишет Д. Ф., дело на мертвой точке. Две разные группы ее хотят и не могут сговориться. Горвиц лез и к Диме, держал себя с последним унижением. Конечно, и Дима отверг эту «гадину».

Дима звал нас вернуться. Нанял нам две комнаты у евреев, себе — где-то далеко, у немки, Володя должен оставаться один в «Краковской». Окончательно мы разделились.

За три дня до нашего отъезда, когда в доме не было ни мужа Карлы, ни Рузи (младшей сестры) — они уехали в Варшаву, Карла внезапно взяла да и родила!

Утром старый слуга нам объявил: родилась девочка. Даже доктор не успел приехать, даже акушерка из Седлеца!

Конечно, телефоны, телеграммы, к вечеру прилетел Генрих (муж) с Рузей, скоро и Марыня (средняя сестра), другие родственники... Мы чувствовали себя не у места. К счастью, день отъезда скоро пришел, и мы, простившись с хозяевами и с младенцем (его сняли на руках у Дмитрия, который при этом застыл в неловкой позе), уехали в Варшаву.

Дима нас встретил на нашей новой квартире, на Крулевской, 29а, против Саксонского Сада, у евреев Френкелей. Отсюда начинается наша новая варшавская фаза и, кажется, самая важная.

Я — в большой комнате, на улицу, на противоположной стороне густые, душистые купы деревьев Саксонского Сада. (На улице, к сожалению, опять скрежещущий трамвай.) Но высоко — ужасная лестница! — а потому не так шумно. Комната — бывшая гостиная бывше-богатых евреев. Ломберный стол посередине, где еврейская горничная, рыжая Маня, вечером дает нам простоквашу и вареники, а днем я разливаю чай из толстого чайника и умоляю гостей не облакачиваться на стол. (Оссовецкий, в конце концов, таки свалил все и разбил чайник.)

В углу маленькая проваленная кровать с красной периной, — я ее утром убираю, закрываю ковром, его дала мне дочка, миленькая Мальвина.

Дмитрий — в небольшой комнатке напротив, через переднюю; у него такая же кровать (обе с клопами), оттоманка и... письменный стол. Но темновато, а у меня солнце целый день.

И целый день — люди, люди... Но уже не тот беспорядочный навал случайных, — разных дам, интервьюеров и т. д., как бывало в «Краковской»: люди начинали группироваться, «повторяться». Буланов, и Гершельман (Дима их тоже приспособил к «Русскому Комитету») Родичев, который непреодолимо мил, добр, честен, но глуховат и несколько «сел на ноги», по выраженью Димы. Полонофил, но все же «каде» и еще приехавший из оглупевшей Европы. С ним мы все подолгу вели серьезные беседы.

Деренталь? Стертый блондинчик, какой-то «безвидный», он жил бездейственно, дожидаясь возвращения Пилсудского с фронта (а он вернулся только 2 дня тому назад).

Стало выясняться, что Деренталь, действительно, один из савинковских «пешек», но появившийся в последний период. Сам по себе — он, кажется, что-то пишет или писал, в русские газеты (прежде) из Испании.

О других его связях с Сав. узналось потом, а пока он рассказал, что сопровождал его со своей женой по Совдепии весь предпоследний год. Сав. был сначала в Москве, потом проделал ярославское восстание, потом, в именьи адмирала Одинца, чуть не умер от холеры; жена Деренталья («типичная парижанка», по его выраженью) ухаживала за ним; затем они очутились в Сибири; наконец оттуда отправились вместе морем в Париж, обогнув полземного шара.

Деренталь уверяет нас:

— О, вы теперь не узнаете Бориса Викторовича. Он сделался таким дипломатом! Так со всеми любезен. Нет следа его прежней резкости.

Нам хотелось верить. Мы помнили С-ва — одиночку, со слишком явным «сампрадверством», которое всех от него отталкивало, — хорошо, если он сумел приобрести нужную сейчас гибкость.

Однако мы напрасно пытались узнать более определенно, кто же за ним, с ним теперь? Оказывалось, что как будто никого. Чайковский? Да, может быть, отчасти. А еще? Неизвестно.

Относительно зимнего приезда С-ва в Польшу и теперешних полномочий Деренталья — не скоро мы все это уразумели, благодаря привычно-конспиративным приемам Деренталья. В конце концов оказалось, что у С-ва был письменный проект соглашения с Пилсудским, очень выгодный, с пунктом, что Польша обязуется содействовать свержению большевиков «в течение 20-го года».

Если С-в при этом и не терял контакта с Пилсудским (как утверждал Деренталь) — чего же он до сих пор не ехал?

Правда, как раз за это время произошла история с Украиной, неожиданное соглашение Пил<судско>го с Петлюрой и взятие поляками Киева. И пока был успех — шипели мало, а чуть дела на юге зашатались — поднялся и в самой Польше гвалт против «украинской авантюры». Я уж не говорю о криках нашей несчастной русской эмиграции против Польши... Но об этом после.

Родичев, и тот вдруг вскипал, начинал тыкать пальцем: «...а соглашение... с этим рразбойником... с-с П-петлюрой... этто што?..»

Через Гершельмана и его друга, графа Пшездецкого, начались хлопоты устройства для Деренталья аудиенции у *chef d'Etat**. Деренталья было не понять. Уверял, что на его ответственности лежит решить, стоит ли С-ву приезжать или нет. Решит он лишь после свиданья с П. Даром — не будет вызывать. От С-ва шли ему нетерпеливые и довольно странные депеши. (Всегда подписанные «*Aimée Derenthal*, женой Деренталья».)

Наконец аудиенция была назначена, и даже в один и тот же день, как и Родичеву (в другой час, конечно).

Родичев был с нами в прекрасных отношениях, мы виделись каждый день и уж, конечно, всячески старались его держать на нашей стезе. Он лишь изредка бурлил и порывался к своим «ка-дэ». Помогала его любовь к Польше, а, главное, то, что Родичев сам по себе удивительно ясный и прекрасный человек. К Савинкову относился он хорошо (а ведь «умеренный»! и большевиков не испытал путем! Да еще из Парижа приехал!). Лишь порою, ни с того, ни с сего, вдруг начинал доказывать, что у С-ва «ничего не выйдет... потому что он... убийца!»

— Вышло же у Пилсудского, — возражает Дм. С., — а ведь он то же, что С-в, из такой же боевой организации.

Тогда Родичев начинал доказывать, что Пилсудский это свое «убивничество» преодолел, переступил, а С. — нет («Я читал его романы!») и что это лично делает ему честь, но что действия его, С-ва, обречены на неудачу. И прибавлял, смутно, что и Пилсудский — еще неизвестно, м. б., тоже провалится.

Эти родичевские выводы меня, по крайней мере, как-то тревожили. И особенно, при сравнении С-ва с П-ким, то, что было так видно: этого обожают целые косяки людей, он, говоря по-мещански, «популярен» и в армии. С-в же — потрясающий «личник», точно специализировался по непопулярности. Глубок, может быть, но как дыра, проткнутая длинной палкой. Глубок — но узок, темен... Других людей он видит лишь тогда, когда они ему поют дифирамбы... Пожалуй, и тогда не «видит», а только их замечает. Впрочем, Деренталь говорит, что он изменился.

Старика Родичева в Бельведер шапронировал** какой-то расторопный малый из «Русск. Комитета». К четырем часам.

Свиданье это не могло иметь никакого особого значения и никаких реальных последствий. Да и не стремилось к ним. Просто акт вежливости с обеих сторон, со стороны Родичева — «желанье взглянуть в глаза». Ну да и так, вообще, на всякий случай. Родичев уже имел против П. особый зуб — Пеллюру, Украину. Уж нет-нет — и заигался (минутно, правда) тем огнем лжепатриотизма, негодованья, который разгорался уже среди русского эмигрантства в Париже и в Лондоне.

Ведь, ей-Богу, — и это стоит отметить, — все оно, вплоть до невинно-безалаберного Бурцева, левое и правое, принялось кричать вместе

* Глава государства (*фр.*).

** От *фр. chareronner* — сопровождать.

с большевиками о патриотическом подъеме в Совдепии, в Красной армии, против «гнусной Польши», отнимающей у «России» Украину, объявляющей ее «самостийность».

Орало без различия партий. В глупостях, безумно-фатальных (как «невмешательство в дела»... большевиков, хранящих, мол, «единую неделимую», и проч.), русское эмигрантство всегда единодушно.

Под вечер пришел Родичев к нам, обстоятельно рассказал об аудиенции. Усталый, он как-то размягчился. «Сказал ему прямо, что об Украине буду молчать». А в общем — доволен. П., очевидно, был с ним мил, осторожно-умен. Спрашиваю о впечатлении от личности.

— Я скажу... да, я скажу, что у него — честные глаза...

На другой день явился Деренталь. Были только мы трое и он. Явился довольный. Говорят, что послал Савинкову благоприятную телеграмму. Путем от Деренталья ничего не узнаешь, но выходило, будто Пилсудский х о ч е т приезда Савинкова. Хочет, однако, чтобы он приехал один.

Да с к е м Савинкову и приехать? Полной ясности у нас не было, но выходило все-таки, будто за ним и у него никого нет.

Это плохо. Перед самым свиданьем Деренталья от С-ва опять были противоречивые вести: то «не приеду», то «все изменилось, приеду, и sans para»* (Чайковского).

Мы стали ждать. И с большими надеждами. Даже Д. Ф. (сравнительно) весел.

В день приезда Савинкова мы его ждали с утра, у нас, все втроем. Но поезд опоздал, и в 2 часа мы с Д. С. пошли обедать в наш ресторан, как всегда. Д. Ф. тоже ушел (он обедал в другом месте). Скоро все вернулись. Кто-то из Френкелей, наших хозяев, сказал, что у нас был гость, «кажется, министр», вернется в 5. На карточке Савинкова стояло: «*Ancien ministre de la guerre de Russie*»** и внизу: зайду около 5-ти.

В половине пятого пришел. Мы с ним все расцеловались.

Мне сразу показалось, что он неуловимо изменился. Чем? Невозможно определить, но временами я его не узнавала. (Говорю, конечно, только о физике.) Между тем перед свиданьем в Петербурге мы его дольше не видали, и перемены в нем не было, теперь же перемену заметил и Д. С., как потом сказал мне. Постарел? Поплотнел? Польсел? Может быть. Скоро, впрочем, это первое впечатление сгладилось. Столько надо было сказать друг другу! И мы заговорили, перебивая его и самих себя.

Первые дни по приезде Савинкова случилось, что Пилсудский был не в Варшаве, и решительная аудиенция откладывалась. Это не имело значения, т. к. было известно приблизительно, чего можно конкретно от нее ожидать. И, конечно, торг с П. имел свои трудные, даже унижительные, стороны. По крайней мере, так смотрел на него Савинков. Он

* Без отца (*фр.*).

** «Бывший военный министр России» (*фр.*).

волновался и мучился. Избегал встречаться даже с лицами официальными, больше сидел у себя в гостинице и вечно звал меня туда то чай пить, то даже обедать и вел со мной длинные разговоры. Я ему никогда не льстила, даже малейших комплиментов избегала, однако он, м. б., в благодарность за помощь в литературе, ко мне весьма благоволил. Да я, главным образом, и писала ему всегда, а теперь он чувствовал, после корниловской истории, что я на него-то и надеюсь и обоих, Д. С-ча и Д. Ф-ва, в этой надежде поощряю. Кроме того, чем-нибудь в себе похвастаться ему всегда хотелось.

Тут он раз открыл передо мной маленький чемоданчик и вытащил оттуда какие-то длинные цветные ленты, красные, кажется.

— Это мои масонские отличия, — сказал он не без гордости. — Вы знаете, меня даже в гроб клали...

В эту минуту, слабо постучавшись, вошел Деренталь, за какой-то справкой. Савинков, не выпуская лент из рук, наскоро ему ответил, а когда Деренталь исчез, проговорил равнодушно:

— Ах, ведь я не имею права никому этого показывать. А Деренталь видел...

Я подумала, что вряд ли это секрет от Деренталья, который и сам, м. б., масон, но промолчала, только спросила, откуда у него взялся Деренталь. И тут узнала любопытную историю: некий старый русский еврей, давно живущий в Париже, писавший в «Русском Слове» до революции корреспонденции под псевдонимом Брут, дружил с Савинковым, который часто бывал у них в семье. Перед войной этот самый Брут вдруг взял да и написал в русскую полицию на Савинкова донос. Это могло иметь неприятные результаты. С. часто бывал нелегально в России. К счастью, дело вовремя узналось, Брут был обличен.

— И я ему простил! — торжественно сказал мне Савинков. — С тех пор и он, и все они — самые преданные мне люди. Могу во всех случаях рассчитывать на них и полагаться, как на самого себя. Дочь Брута — жена Деренталья. Вы ведь слышали о нашем путешествии по России и в Европу через Индийский океан? Кстати, — прибавил он вдруг, — Деренталь спрашивал меня, не может ли он выписать жену сюда. Я ему сказал, что это его личное дело, но потом подумал, что если обстоятельства сложатся благоприятно, и начнется работа, — жена Д-ля может быть полезной: она прекрасно знает языки, типичная парижанка, все время работала в нашем Union... Надо только подождать, когда дела выяснятся.

И разговор перешел на дела.

Историю Деренталья, его тестя и великодушного «прощения» Савинкова, для приобретения преданного семейства, я рассказала Дм. С-чу и Дм. Ф-ву. Последний не обратил на нее вниманья, а Дм. С-чу она так же не понравилась, как и мне, хотя ответить, чем именно, мы не могли.

К нам на Крулевскую Сав-в приходил, но чаще тогда, когда никого не было. Говорили о Пилсудском. Д. С. все спрашивал, что он может по н я т ь? Мы знали, что тут очень важен человек, его широта и сила.

Он может сделать так (понимая), что станет возможна общая удача, и зависимое положение С-ва не будет тяжело. Но может и внутренне «провалиться», понять вполнину, внешне, хитро и грубо, и это уж будет худо и чревато всякими, близкими и далекими, последствиями.

Вот провалится или не провалится Пилсудский — мы всего больше и рассуждали.

Не знаю, как-то чувствовалось, что приезд С-ва в Польшу — окончательный, что в Париже, да и везде у него сожжены корабли (если были). Кто за ним был? Как будто и никого. Впрочем, в то время нам это было все равно. С-в говорил о двух генералах, одного ждал на днях — Глазенапа.

Наконец день аудиенции наступил. Савинков приехал к нам прямо из Бельведера. Мы были одни, только втроем. Первое слово его было: «По-моему, он провалился».

То есть — внутренне. А извне — все было как бы прекрасно: решено формирование русского отряда на польские средства. Но не официально объявленное, а под прикрытием «эвакуационного Комитета». Председатель — Савинков.

— Вам, — сказал Савинков, обращаясь к Д. Ф., — я предлагаю быть моим ближайшим помощником и заместителем, товарищем председателем этого Комитета.

— Не смею отказываться, — отвечал ему Дм. В. Философов.

Как ни были мы в этот миг одинаково все взволнованы и все месте, мне почему-то показалось и мгновение, и Димин, такой серьезный, ответ — чертой, отделяющей... что от чего? Кого от кого?

С этого дня все завертелось. Пристегнули Буланова, Гершельмана, других. Предполагался отдел пропаганды, в котором я должна была принять участие. Тут же, сразу, стала образовываться и газета. Дима Ф. вызвал из Минска этого хама — Гзовского. Родичев подходил несколько сбоку, но тоже подходил.

Глазенапа С-в тотчас привел к нам с Д. С. Бледный, одутловатый, с гладкими черными волосами. Одутловатость у него какая-то самодвольная. Савинков его точно совсем не понимал (он вообще не видит людей) и беспокоился. Мы поняли только одно, что он Савинкова, в сущности, терпеть не может. Но другого генерала не было.

Тут я выпишу две страницы современной записи, — дневника, который я начала, в этой же книге, но продолжать не могла, слишком много было срочной работы. Скажу сначала, что Дм. Серг. понимал, чего не хватало при всем данном положеньи, о чем не подумал Савинков, говоря с Пилсудским, и решил сам Пилсудского повидать. Запись моя, при всей краткости, поясняет, в чем дело. Вот она, без изменений:

Варшава, 1920 г.

24 июня, Четверг.

Завтра Д. С. едет в Бельведер. Если даже свиданье это будет пятиминутным, Д. С. успеет сказать то, что нужно. А это, действительно, самое нужное. Русские войска рядом с польскими... Поляки с удовольствием сража-

лись и будут сражаться п р о т и в русских (Россия — враг), а как это они посмотрят на русских р я д о м, на отряды, сформированные в т а й н е? С другой стороны, и русские, командующий состав в особенности (своего рода «патриоты», для которых Польша — тоже враг, желающий завоевать, отнять что-то у России), как это и они пойдут с поляками р я д о м — против своих? Тут какое-то недоразумение, или недообъяснение, недоговоренность. Неужели Савинков (и Дима?) этого не понимают? С. был сегодня. Говорит, что окунулся в работу. Что хотел бы растроиться. Как дело началось, нет людей.

Тайный (?) комитет, прикрывающий формирование русской армии в Брест-Литовске, заседал вчера. Председательствовал Дима. К делу прикомандированы три польских офицера. Я пишу между двумя навалами людей. Чувствую, что надо писать дневник, слишком интересно и важно то, что я вижу, в чем участвую, но... нужны для этого не мои силы.

При возможности вернусь к прошлому, а сейчас дай бог и теперешнее отметить.

Сегодня составил наконец кабинет и, к удивлению, центр-правый, а не центр-левый. Будет, кажется, соглашение с забастовщиками.

Наше дело поляки очень торопят. Слухи, что у них на севере опять плохо. А сегодняшние газеты Врангеля могут привести в транс. Конечно, он провалится.

Сейчас (вечер) придут Родичев, Петражицкий, ну и наши остальные. Поэтому кончаю.

3 июля, Суббота.

Пилсудского Дм. С. видел, сидел у него час двадцать минут, и то сам ушел. Результаты интересные.

Дм. С. даже увлекся им, пишет восторженную статью: «Иосиф Пилсудский», которая тотчас выйдет брошюрой и будет везде распространена.

6 июля, Вторник.

Я и нового всего записать не могу, не то что к старому возвращаться. Вот главное, самое важное: вчера, 5 июля, появился наконец знаменитый приказ Пилсудского по армии:

«Сражаясь за свободу свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разоренья» (Приказ Верховного Главнокомандующего).

И далее — «Воззвание Совета Государственной Обороны»:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, — этот враг, большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака. 5 июля 1920 г. в Польше».

10 июля, Суббота.

Вот как я могу писать здесь дневник! А сегодня появилось наше (ответное приказу Главнокомандующего) «Воззвание к русским людям». Оно

длинно, я здесь его не выписываю*. Главное сделано. Молодец Пилсудский! Без объявления такого «приказа» ни одно иностранное государство не может вступать в борьбу с большевиками — рядом с русскими войсками. Хорошо, что Д. С. видел Пилсудского.

Газета у нас будет. Д. Ф. — весь в работе с Сав., мы его почти не видим, переселился тоже в «Брюловскую» гостиницу. Формирование русской армии хотя еще не официально, но тайны нет, все знают.

Порученный мне отдел пропаганды пока не организован: нет газеты, нет и помещенья. Володя и Лесневский должны быть моими помощниками.

Я чувствую, — т а м только могилы, но все равно, тем более... Боже, нет слов.

Дальше в тетради «дневника» только несколько строк в Данциге (перед октябрьской записью в Варшаве, того же года, когда я возвращаюсь к рассказу о нашей польской эпопее).

Данциг, 11 августа, Среда.

Мы уехали из Варшавы 31 июля, в пятницу, в тот холодный, ненастный вечер, когда несчастные поляки отправили свою несчастную делегацию к Барановичам — молить издевающихся большевиков о перемирии. Не вымолили. Что происходит? Очень странное, во всяком случае. Не только мы — никто ничего не понимает. Не странное с Европой, с Англией; у Ллойд-Джорджа давно отнято всякое человеческое понимание; но странное с большевиками: казалось, что они побоятся зарыва, примут и перемирие, и мир; ведь Англия накануне их полного признания. Они же изворачиваются, тянут, крутят... Хотят, м. б., взять Варшаву, соединиться пока что с немцами? Все-таки думаю, что дадут зацепочку Л.-Джорджу для признания: ему так мало нужно! А сами большевики... нужны.

Возвращаюсь к рассказу, к началу июля в Варшаве. Собственно, в июле все и разыгралось, и было началом конца.

Первый результат работы Савинкова, вот этой военной, в совместности с Д. Фил-м, было то, что Дм. С. и я почти совершенно перестали с ними выдаться. Если бы Д. Ф. на такую работу не перешел, а стал бы действовать с нами, с Д. С. и со мной, т. е. если бы мы втроем занялись газетой и пропагандой (что Д. Ф.-ву и свойственнее было, нежели формирование армии, споры с генералами и т. п.), это было бы другое дело. К несчастью, у Сав. не было ни одного человека, на которого он мог бы опереться, он и схватился за Диму. А при спешности этой сложной и чисто военной работы, нам с Д. С. совершенно чуждой и неизвестной, мы двое и оказались сразу как бы в пустоте. Возражать — на что? Савинкову и Диме дохнуть некогда: они и с польскими властями, они и офицеров принимают, и с Глазенапом заседают, — когда еще ехать к нам и зачем, — докладывать, что ли? Предполагалось, что я сама по себе, одна, устрою какой-то «отдел пропаганды», с Володей, в виде моего личного секретаря.

* Текст у меня так и не сохранился (примечание позднейшее).

Я, впрочем, готова была на все, но решительно не могла ступить. Да и некуда было ступить. С Д. Ф. и Сав-м не было никакого контакта. Д. Ф. приходил иногда, измученный, раздраженный, и знать ничего не хотел. А когда началась газета — стало и того хуже: никакой свободы в этой «Свободе» мне не дали. Выписанный из Минска Гзовский сразу начал хамить, пошла чепуха, неизвестно, кто был хозяином, из-за каждой мелочи надо было обращаться к Савинкову, да еще через Гзовского. Являлся Дима (дремать на моем диване) — и опять ничего не разберешь, какая «коллегия» распоряжается в газете. Гзовский ни с кем, кроме Савинкова, разговаривать не желает, от меня только требовал «материала», иначе грозил свое (свою дрянь) вставлять.

Дм. С., конечно, ничего в газету не давал. Все это было глупо. Пусть у меня мало организаторских способностей, но что я могла «организовать», когда у меня, при отсутствии помощи, не было и полномочий, никакого маленького с в о е г о дела, со своим хозяйством и собственной ответственностью? Ведь и статьи газетные, которые я писала «в хвост и гриву» (даже за обедом), чтобы Гзовский туда своего не натыкал, и то, когда вечером я приезжала в редакцию править корректуру, оказывались с исправлением «резкостей». Точно я не знаю, как, что, когда писать!..

Но все развивалось последовательно. Внешнее у меня отсечено: после свиданья Дм. С-ча с Пилсудским — Объявление (официальное), что Польша воюет не с Россией, а только с большевиками. Наше воззвание (втроем) к русской эмиграции и русским людям, объясняющее войну Польши. Снятие, таким образом, крышки «эвакуационного Комитета» с формирования русской армии. Начало газеты «Свобода». Тут вдруг телефон Балаховича — ко мне: он хочет присоединить свой отряд к русской армии, — как это сделать? Я, помня отрицательное отношение Димы к этому «зеленому» генералу в первое наше свиданье, отвечаю уклончиво, хотя причины его отвергать не вижу. Через день, кажется, или два, увидав Диму, сообщаю ему о звонке Балаховича и его желаньи с замечаньем, что это, конечно, их дело, но что я не вижу, собственно, основания не присоединить его отряд... Я не успела договорить, как Д. Ф. меня перебил, не без раздражения (он иначе теперь не говорил), сказав, что дело уже сделано, что Балахович ими принят вместе с его отрядом. Ну, тем лучше, что я ни при чем. Внутренне же все развивалось у нас, в течение всего июля месяца, следующим образом: как уж сказано — работа С-ва, в которую плотным образом и сразу был вовлечен Д. Ф., по своему чисто военному характеру (и конспиративному, — от этого С-в не мог отрешиться) оказывалась такого рода, что я и Дм. С. фактически остались в стороне, не участвуя (естественно) в делах, армии касающихся. Работы же о б щ е с т в е н н о й никакой больше не было, все наши варшавские отношения сделались вдруг ни к чему: особой гласности насчет армии — уверял Савинков — Пилсудский не хочет. Видаться с Д. Ф. и с Савинковым мы стали очень редко, да тут началось у нас с последним и тренья.

Начались нелепо. Непонятно. (Или так и должно было быть?)

Он дал знать, что нашел свободный час, и мы условились пойти вместе, втроем, обедать. Стояла жара, и мы просто пошли в Саксонский Сад, в открытый ресторан.

Невозможно проследить и нельзя передать, как, но разговор принял сразу неприятный оттенок. Могу лишь засвидетельствовать, что ни я, ни Д. С. не были в этом повинны, нас это изумило и даже поразило. Дм. С. самым благодушным образом, в тоне наших старых, близкородственных отношений, начал говорить об общем, — о борьбе с большевиками, о ее идее, о смысле работы... может быть, сказал что-нибудь о слишком узко-военном характере дела, благодаря чему мы не можем сейчас иметь с ним более тесного контакта. Внезапно тон Савинкова сделался «арrogантным»: * он стал говорить, что это «экзамен» ему, а теперь ему не до экзаменов, что он работает всюю, а когда он работает, — он не привык отвечать на чужие сомненья, и держать экзамены ему некогда. Мы были так изумлены, что не знали даже, что и отвечать. А он вдруг, ни с того, ни с сего, заговорил о Володе и стал его неистово и грубо ругать, зачем он не пошел к нему записываться в армию. «Ему надо бы мгновенно явиться, умолять меня, а он — что? Он, сукин сын, вишни ест. И не пошелохнулся! Стихи пишет? Да черт ли в них, когда перед ним прямое дело!»

От неожиданности и непривычки к т а к о м у Савинкову мы не сумели сразу замолчать, а пытались еще спорить. За годы мы знали другого Савинкова; я его никогда не боялась, но мне подумалось, что тут случайное недоразумение, а что потом он «все поймет».

Удивленный Дм. С. вечером не знал, что и сказать. А на другой день Дима рассказывал: «Борис мне “рыдал в жилет” (т. е. жаловался), вы его экзамену подвергали, и экзамена он будто не выдержал».

Странно было и с Димой говорить.

Через несколько дней — еще свиданье, днем, у нас. Глупый какой-то разговор, опять жалобы на «экзамен». Тут уж я рассердилась и заявила:

— Все это вздор. Однако, сколько я ни думаю о вас — Россия для меня первая. И если я хочу верить, что вы будете некто для России, можете быть, я имею право смотреть, судить и узнавать вас.

На это он сказал, уже гораздо тише: «Как вы резки» — и только.

Комнатные столкновенья ничего пока не меняли: я продолжала работать и в газете и делать, что возможно, в «конторе пропаганды», на Краковской, где жил Володя. Но меня очень глубоко заботил Дм. С-ч. Ни к какой т а к о й работе он не был приспособлен и чувствовал свою растущую бесполезность в данных условиях. Очень поэтому томился на нашем пыльном припеке, — жара стояла неистовая. Так как я хотела оставаться с «ними» (с Д. Ф. и Сав-м) до последней возможности, терпя все и стараясь что-то делать, то мне с утра приходилось мучиться, придумывать, как успокоить Дмитрия, что ему обещать, чтобы не стремился он куда-нибудь прочь. Утро я возилась с редактированием

* От фр. arrogant — высокомерный, надменный.

рукописей, телеграмм, а днем ехали мы с Дм. С. в Лазенки, чтобы он там немножко подышал. Потом, вечером, я ехала в редакцию (чаще бесполезно). В промежутках писала статьи для «Свободы».

Польские дела делались все серьезнее. Была объявлена еще одна мобилизация. С песнями шли мимо нашего балкона новобранцы, совсем мальчишки, но это было и грустно — и радостно: ведь они идут бороться не с Россией: идут «за свою и нашу вольность».

Не могу определить, когда в эту «марсельезу» стал вливаться (как у Достоевского в «Бесах») подленький мотивчик «mein lieber Augustin»*, — мотивчик о перемирии и мире с большевиками. Но если бы я понимала всю тогдашнюю польскую ситуацию, их партийную борьбу, главное — подталкиванья Англии, стоит ли писать? Факт, что мотивчик день ото дня рос и креп. Поляки, наши, кричали, что ничего этого не будет, да ни за что в жизни! И Пилсудский, мол, против мира, да и как можно! Не то было среди крайних правых и крайних левых...

Я забыла сказать, что уже давно приехала в Варшаву и жена Деренталья, та самая Aimée, дочь Брута, о которой Сав. мне рассказывал. Одна из «до гроба преданной ему семьи», как он говорил. Он перешел в Брюл в другое помещение, а свою комнату отдал ей. Сделав нам визит, Aimée пригласила нас к себе чай пить. Было любопытно, как преобразилась комната (где мы с ним «заседали» в первые дни его приезда): розовые капоты, пахнет духами, много цветов. Она — с крупными чертами лица, довольно на грубый вкус, красивая, яркая, кокетливая, сделана для оголения, картавит. Деренталь сообщил Д. Ф-ву: моя жена очень умеет обращаться с Борисом Викторовичем, если что-нибудь — надо к ней... (Мы, конечно, все поняли, было не трудно.)

Кстати: насчет Деренталья я не все понимала, до одного случая. Раз, еще в начале, пришел Деренталь и стал приbedняться: вот, мол, ему теперь в Латвию и в Эстонию, для тамошнего формироваья. Б. В. посылает. И непременно завтра. На послезавтра у меня есть билет, но Б. В. требует завтра, и я должен в багажном вагоне...

Вечером я видела Савинкова и между прочим, полушутя, сказала — почему это он так жесток, не позволяет Деренталю лишний день остаться. И (это было первое мое удивление) Савинков внезапно осатанел: как!.. Деренталь смеет рассуждать? Смеет жаловаться?! Да он на буфере поедет, если ему приказывают!! И т. д. Тут я поняла окончательно и бесповоротно, что Деренталь для Савинкова — собака. И что С-ву нужны только собаки. Впрочем, это последнее я поняла немного позже.

Пишу все эти мелочи для характеристики «человека». Громадность драм «людей» не уменьшает важности драмы «человека». (Никто этого не понимает.) Кроме того, не всякой собаке можно доверяться: смирна-смирна, а исподтишка вдруг может и хватить.

Савинков заезжал к нам все реже. Обыкновенно с этой самой Aimée (Деренталь уехал гораздо раньше ее приезда). В Брюле жил теперь

* «Мой милый Августин» (нем.).

и Буланов, — он был на должности казначея и хранил польские миллионы у себя под кроватью.

Надо сказать два слова о Врангеле.

Впрочем, что говорить о Врангеле? Мы в него, благодаря доходившим до нас сведениям и его воззваниям, не верили, особенно же печально было то, что он стоял против всякого дела из Польши, смотрел на все здешнее и всех как на врагов. Ошибался он в поляках или нет, это была тактическая ошибка. У Врангеля имелось бы куда больше шансов на успех, заключи он хоть не союз, но хоть в блок войди он с окружающими государствами. В тот момент это было фактически возможно, но на это не хватило ни выдержки, ни размаха.

Отношение же С-ва к Врангелю было какое-то непонятное. Да сказать по правде — весь С-в мне все менее становился понятным; не говорю — менее приятным, это могло бы быть личным впечатлением, но именно непонятным. В памяти даже всплыло старое туманное пятно, оставшееся после «дела Корнилова». Почему он тогда, после явной борьбы с Керенским за Корнилова (за К. К. С.) после всего, что было на наших глазах, почти в нашей квартире, вдруг сделался на 3 дня «усмирителем корниловского бунта»? После 3-х дней Керенский его изгнал. Зачем это было, для чего и почему? Что он думал, на что надеялся? Объяснить этого всего он и тогда не мог, но затереть вопрос сумел. Теперь я это произвольно вспомнила. Да, работать с ними вместе нельзя, нам с Д. С., по крайней мере. Объективно я перестаю верить в успех дела именно с Савинковым благодаря многим его свойствам, ускользавшим из поля моего зрения. Одно из них, наиболее еще безобидное, — это что людей он не различает, не видит, кто для чего нужен и нужен ли. Не могу же я вообразить слепого Наполеона! А претензии его безграничны.

И, однако, я решаю, со своей стороны, сделать все, чтобы не отходить до конца, до последней возможности. Во-первых, Дима. Не то, что я бы осталась ради него в глупом деле ненужного человека; но если выяснится именно так — я надеялась, что мы уйдем вместе с ним.

Когда же все стало окончательно невозможным?

Полная (наша с Дм. С.) пустота и безделье. А тут еще событие: большевики полезли в наступление. Наш, русский, отряд был в полной неготовности и, насколько я понимала, из-за внутренних дрязг, чепухи и общего неумения. Закулисную сторону я знала немного и видела, что Сав-в — организатор плохенький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии людей не собирают, а разъединяют.

Дмитрий С. томился: «Знаешь, уедем хоть на 10 дней куда-нибудь, недели через две... Ведь нам буквально нечего делать». Пришел Дима. Дм. С. к нему: «Знаешь, недели через две...» Д. Ф. прервал: «Не через две недели, а сейчас уезжайте. Тут пошло такое, что лучше уехать, пока выяснится. Только из Польши не уезжайте», — прибавил он вдруг.

И мы уехали в Данциг. Проезжали этот нелепый (по-моему, роковой) «коридор», где поляки держали себя и на станциях, и в поезде с совершенно ненужной наглостью, как победители, дорвавшиеся до

своей добычи. А Данциг, как бы его не перекрещивали, оставался городом немецким, и видно было, что тут уж ничего не поделаешь.

Все время ходили радостные (для немцев) слухи о взятии Варшавы. Они, однако, оказались ложными, большевики были разбиты в 7-ми верстах от Варшавы. Знаменитое «чудо на Висле». После этого самого «чуда» большевики стали сговорчивее, и вскоре перемирие (не без скандалов и всяких издевательств) было подписано в Минске. Почему Польша так настойчиво, почти униженно стремилась к миру с большевиками — загадка. И так давно! Натиск обидиотевшей Европы — единственное объяснение. Ллойд-Джордж (чтобы «торговать с каннибалами») и т. д., и т. д.

Так как все «успокоилось», мы решили вернуться в Варшаву, посмотреть... Была ли у меня надежда? На что? Конечно, нет. Буквально ни на что больше, ни даже надежды выцарапать Д. Ф. из ямы. Но я хотела еще и опять добросовестно посмотреть на реальность.

В наше отсутствие — мы знали от Буланова — Дима ездил в «наши» лагеря, к «неготовым» отрядам. Там продолжались безобразия, Глазенап уже исчез, другие, какие были, тоже, появились совсем новые «генералы» (вроде молодого Пермикина). Дима ругался там в тонах Савинкова (где был Савинков — не знаю), а Деренталь жестоко пьянствовал.

Мы — я, Д. С. и Володя — вернулись в Варшаву в начале сентября. Это наш третий варшавский период, последний и самый несчастный.

Приехали с вокзала прямо на Хмельную, где у Д. Ф. была не то редакция, не то шли какие-то заседания. Опять, должно быть, тайные, ибо едва мы вошли — Д. Ф. вскочил из-за стола нам навстречу и вывел нас из комнаты.

Мы были бесприютны. Ни Френкелей, ни даже «Краковской». С муками устроились в гостинице «Виктория», такой невероятно грязной, что написать — сам не поверишь. Темноватая комната, кровати за ширмой. В первом этаже, вместо окна — дверь на балконе, старая, не затворяющаяся. В щелях и на асфальтовом полу стояла после дождей лужа, которую вычерпывали. А затем нас однажды ночью через балкон обокрали.

Почти и не стоит описывать эти наши последние полтора месяца в Варшаве. Просто дам краткую суть. Ведь уже все было кончено.

С величайшей строгостью я задала себе вопрос относительно Савинкова. Я не хотела, и перед собой, хотя бы втайне, чего-нибудь не объективного. Я требовала справедливости. Ничто мое пусть не вливается в мой суд. Если в чем-нибудь виновата я или Дм. С. — не скрою от себя.

Разве трудно поддаться таким чувствам: мы, главные зачинщики всего, оказались не у дел; со мной один момент Сав. вел себя глупо; а главное, главное — он разделил нас с Д. Ф., совершенно взяв его под свое влияние. Значит, мол, С. не хорош... Вот этого я и не хотела.

Вот такого суда над С-ым. Я добивалась самого справедливого взгляда на С-ва, даже не как на человека (это само собой), но на пригодность его в данный момент для дела России.

И я видела, что он ни в данный момент, ни вообще для дела этого не пригоден.

ЭМИГРАЦИЯ 1920—1941

Мне особенно трудно писать об этих годах жизни Дм. С-ча и нашей, потому что я как раз в это время никакой последовательной записи не вела, кроме отрывочной, в первые месяцы после нашего приезда в Париж. Но мне помогут работы Дм. С-ча, сохранившиеся отиски его даже мелких газетных статей, моя память и, наконец, неуклонная прямизна линии, которую вел Д. С. как в своих писаниях, в публичных выступлениях, так и в жизни. Ею, этой линией, определялись наши схождения и расхождения с теми или другими людьми, она же была подчас причиной все растущей тяжести этой нашей изгнанныческой жизни.

Польский удар, крушение наших первых надежд, потеря главного помощника и друга, — все это не могло не произвести впечатления на Д. С. Но перенес он неудачу нашу мужественнее, чем я, и с сохранившимися надеждами смотрел вперед. Свое малодушие я не хочу оправдывать, но отчасти оно объяснимо: в Польше я могла принимать участие в общем деле, привыкла к постоянной работе (у меня даже был целый отдел пропаганды) постоянно, изо дня в день, писала в нами основанной газете «Свобода»; во всяком случае, при том ощущении «пламенного долга» для всякого помогать борьбе с большевиками, с каким мы бежали, я все-таки что-то делала. Теперь же, в Париже, деланье целиком ложилось на плечи одного Дм. С-ча. Помимо своих собственных работ, он мог выступать публично, мог писать во французских газетах; есть ли там, и какая, русская пресса, — мы не знали; но «нашей» газеты нет, и я предчувствовала, что мне там просто нечего будет делать, и даже помогать Дм. С-чу я не видела, как могу? К этому прибавлялась вечная мысль об оставшихся в аду моих близких да и тревога за покинувшего нас друга и помощника, Д. Ф., который попал в глупые (это уже я знала) и опасные лапы Савинкова. Надежду Д. С-ча, что друг наш скоро сам рассмотрит С-ва и вернется к нам, я не разделяла; признаюсь, считала ее даже невниманием со стороны Дм. С-ча к характеру и свойствам Д. Ф. Не разделяла и надежд его встретить помощников и серьезных хотя бы сочувственников делу нашему среди русских, новых или старых, эмигрантов. Достаточно слышали мы о новых, а старые... Бунаков с женой уже давно убежали из России, — в Париж, конечно. Но и его теперь мы уже знали достаточно. И его партию (с-ров), ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, — «все такие, как негодяй Чернов», — и где он был, в лучшем случае, как бы пленником. Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость. Он все-таки казался нам человеком... симпатичным, но — какие же можно было возлагать на него надежды!

Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела, благодаря заботам о ней прежней нашей горничной. Она служила

у нас еще в те годы, когда жили мы на Théophil Gautier, вышла замуж, но, когда мы приезжали потом на нашу pied à terre * в Passy, неизменно к нам возвращалась, до последнего раза, весной 14 года. Во время войны я деньги за квартиру еще посылала (квартира, по условию между нами, была моя), но со дня революции пересылка была невозможна. Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений. Это была, конечно, удача: ведь там оставалось много книг, разные бумаги, записи, письма... Но как все-таки больно и страшно было в нее въезжать теперь, когда все было иное и мы сами — иные, ведь мы эмигранты... Да и никогда не любила я эту квартиру, предчувственно, может быть.

Впрочем, не стоит останавливаться на мелочах, как ни неприятно это ощущение п е р е к о ш е н н о с т и окружающего: как бы то — и совсем не то.

Мои мрачные настроения и предвидения я скрывала, конечно, от Дм. С-ча, не желая нарушать бодрость его духа перед новой задачей. Да и было тут, кроме того, много моего личного, меня касающегося. Если я не видела, что буду делать я, — перед ним было много работы. Мне даже хотелось, чтобы Польша стала для него совсем как отрезанный ломоть, чтобы и откликов оттуда к нему не приходило. Это оказалось невозможным ни в первые дни нашего Парижа, ни в первые месяцы (острое время, паденье Врангеля), ни, пожалуй, целый еще год... когда, после перерыва, произошла, в 23-м году, эта отвратительная катастрофа с Савинковым. Меня с Дм. С., а как задела Д. Ф-ва! но к нам его не возвратила. Слишком поздно... О ней я расскажу в свое время. Теперь, чтобы исчерпать первые отклики Польши, приведу несколько кратких моих парижских записей конца 20 г., м. б., 21—22, — я бросила потом записывать что-либо.

Париж, 14 ноября (1920).

Врангель весь провалился. Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Вр. будто бы уже в Константинополе. Чего и следовало ожидать. Но вот что любопытно... как трагический фарс: вчера бедная Евг. Ив. (жена Савинкова) приносила два письма от него будто бы из-под Пинска. В обоих самое бодрое настроенье: «...Я уверен, что мы дойдем до Москвы...» «Крестьяне знают, что мы идем за Россию не царскую и барскую...» «В окрестных деревнях 3 тысячи записались добровольцами...» «А “Рангель” (по выговору крестьян) непременно провалится...» Кроме последнего — ото всего несет захолустной глупостью. Это Савинков с м-м Деренталь и с разбойником Балаховичем «дойдут до Москвы!» Может, и «дойдут»... или доведут их. Что может быть другое? Не так, и не такой смехотворный отряд дойдет до Москвы. У б-ков армия, пушки... За них — Англия... Франция еще как будто против... но «как будто», да и что она может? Погрязает в абсурдах: признаёт Врангеля — и поощряет польский

* Временное пристанище (*фр.*).

мир. Большевики и не скрывали, что мир с Польшей их устраивает, — надо покончить с Врангелем.

Ну, дойдет очередь до Польши! Продала себя — даже не за золото, а за б<ольшеви>стские и английские золотые обещанья.

Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с б-ками Ллойд-Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они «научат Европу уму-разуму», как только что объявил Троцкий. А под конец проучат они и всех своих союзников самих...

16 ноября.

Всесметающая лавина большевиков под личным командованием Троцкого (главнокомандующий товарищ Бронштейн) уже в Севастополе. Это лишь первая реализация варшавской дряни (мира) в Риге.

Д. Ф. не пишет ни строки. Ждет вестей от м-м Деренталь и Савинкова из Москвы? Я ему писала, и здесь скажу, что знаю и с чего мы с Д. С. не возвратимся. Наша прямая, почти грубая линия пониманья, которую мы вывели «оттуда», проста и непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами н о в о й России (не с лозунгами одних «не», как у Савинкова), 2) при непременно условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.

Вот — и больше ничего. Остальное детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что все данные ю ж н ы е наступления бесплодны. От этого знания и пошла вся наша Польша, и все, все... От этого же знания мы не сомневались, что б-ки лопнут при первом ударе Польши. Это и случилось в 7 верстах от Варшавы... Так называемое «чудо на Висле». Чему удивляться бы, как «чуду» — это униженным после того просьбам Польши мира у большевиков. Одно объяснение: приказ Европы. И Польша не смела послушаться. Ну, ладно. Время-то идет. Как бы его — для себя — Европа не пропустила...

25 ноября.

Письмо от Д. Ф. (через Petit), начинающееся так: «Сегодня написал Борису (Сав.), категорически требуя приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг...» (!) Вот свидетельство, что Дима (Д. Ф.) абсолютно не понимает степени непопулярности здесь С-ва. Он, если у него кто и был, успел всех от себя оттолкнуть. Недаром я еще в Польше писала: «Наверно, он, приехав, уже сжег за собой корабли, даже шлюпки. Никого, боюсь, за ним в Париже нет». А Дима и о сю пору ничего не понимает. Пишет еще, что «положение невероятно трудное. Пилсудского травят... А он, — прибавляет Дима, — в мир не верит, но войны вести не может». (Не приказано? — думала я.) «Нахохлившийся больной орел», по словам Димы. Не пишет, однако, о том, что мы узнали сегодня: украинцев бьют, а за Балаховича большевики принялись вплотную, остатки его накануне ликвидации. Вот тебе и Москва! Англия — накануне «признания», поэтому, думается, на Польшу с е й ч а с они не ползут.

17 декабря.

На днях приехал сюда посланцем от Савинкова его подручный Дима (Д. Ф.). Как странно мне это писать! Неужели и Дима «оборотень»? Савинкова мы еще могли не сразу понять, он, может, и не оборотень, а всегда был таким... пустым местом. Дмитрий за него боролся, за такого, каким всегда видел (и до сих пор, считая его соединение с Сав. временным несчастьем!). Значит, он был собой, не тем, каким обернулся, когда «инкрустировался в Савинкова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти лет совместной жизни! «Мне не нужны помощники, — сказал однажды Савинков, при мне, Дм. С-чу, в Варшаве, — мне нужны исполнители!» Это было так глупо (ведь даже и думая это — глупо говорить!), что мы промолчали. И вот Дима поступил в «исполнители», — и чьих приказов? Ослеп и сделался «оборотнем».

Живет он где-то в гостинице, приходит к нам изредка. Рассказывает мало, мы знаем только, что дело, за которым он приехал — достать денег для интернированного в Польше отряда Савинкова—Балаховича («я уверен, что мы дойдем до Москвы!»). Это дело не удалось.

Вчера Дима не был даже на первой лекции Дм. С-ча в Salle Danton. Много народу, слушали внимательно. Лекция, конечно, по-французски. (Потом она вошла первой статьей в книгу Д. С-ча «Царство Антихриста», под заглавием «Европа и Россия».)

На днях «посланец» С-ва уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. «Неблагословенность наших дней»... Еще бы! А что будет дальше!

Отсюда я начинаю просто рассказ о нашей эмигрантской жизни, записи мои, с откликами о Польше, прекращаются. В дальнейших, тоже отрывочных и кратких, кое-что о Варшаве и варшавянах отмечено, и даже весьма немаловажное, но все это я введу в рассказ. Манерой дневника передавать не буду.

В Париже мы встретили немало старых знакомцев русских, немало и новых. Некоторых «новых» эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России или видели мельком, — Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. А с таким большим писателем, как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе. Был тут и невиденный нами раньше Милоков (Д. Ф., как близкий сотрудник газеты «Речь», знал его в Петербурге хорошо). Он еще не сделался тогда владельцем недоброй памяти «Последних Новостей», но газета уже выходила: ею заведывал Гольдштейн, адвокат, защищавший когда-то Дм. С-ча на его суде за «Павла I». Оказалась тут и еще одна русская газета, «Общее Дело», сразу пришедшаяся Дм. С-чу больше по вкусу. Редактором был старо-новый, или ново-старый эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках. К большевикам он был «непримирим», а потому газетные статьи свои начал писать Д. С. в «Общем Деле» (как и я).

Но не для газетных же статей так стремился Дм. Серг. в Европу. Статьи — дело попутное. Я поистине удивлялась заряду его энергии в это время в Париже. Все люди, казалось ему, на что-то самое нужное нужны, причем он верил, что не могут они не быть вместе, не чувствовать правды, которую чувствует он: слишком она явная, бесспорная. Он начинал понимать, что европейцы, французы, не так-то скоро и легко уразумеют, что такое большевизм. Но в русских не сомневался. Да, сказать по правде, в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество — старшее поколение — внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду, все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Дм. Серг. еще затеял, у нас, какое-то сообщество на религиозных основах; но в обычном (или даже необычном) увлечении своим собрал вместе людей, по существу для этого неподходящих, почему из затеи ничего и не вышло. В то же время отчасти благодаря его блестящим публичным выступлениям, отчасти потому, что имя его (особенно по роману Léonard de Vinci) было во Франции известно, а приехавший откуда-то, где что-то творилось, он был «новинкой» — мы с ним стали попадать, как в Варшаве, к разным «контессам»; раньше, когда жили в Париже, мы туда не ходили, да ими (как и они нами) не интересовались. Но французские литературные круги были нам теперь почему-то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекопилось (это мы переместились, но куда — еще не успели понять).

Из ранее незнакомых нам эмигрантов ближе всех был нам старик Чайковский. Он был в начале года с Савинковым в Варшаве, потом ездил один к Деникину (когда тот погибал). С Савинк. он разошелся, без ссоры, кажется, — но не любил о нем говорить. Принадлежал он к старшему поколению революционеров-народников (обычно жил в Лондоне, где года через два-три и умер). Его поколение, казалось, было самое атеистическое. Я многих современников его еще застала в Петербурге и писала о них, называя, впрочем, их атеизм, в отличие от атеизма последующих, материалистического, атеизмом романтическим. Эти «последующие», революционеры и вообще всякие «левые», без различия партий, сохраняли свою, — по меткому названию Д. Ф., — «богобоязнь» неприкосновенно, несмотря ни на что, до конца жизни. Из этого правила были исключения: тогда «левый» бросался в православие, вообще делался прозелитом, крестился, если был еврей; а то даже делался священником. Но Чайковский не был ни романтик, ни клерикал, а настоящий религиозный человек. Мало того: его христианство окрашивалось чем-то новым: он говорил о троичности, о Духе, притом без всякого условного догматизма. Не мертвыми устами повторял эти догматы, т. е. не как статьи закона, — он не был прозелитом. Чувствовался в нем, конечно, моралист старого закала, отвычка от России, незнакомство с ней в последние годы... Но религиозность его была самая подлинная и не банальная, что при его возрасте и биографии казалось даже удивительным.

В Париже в это время существовало Русское Издательство, которое так и называлось Изд-во Полнера—Чайковского. Д. С. и я в него, конечно, тотчас же попали (Полнера мы знали еще по Петербургу). Там был издан роман Д. С-ча «14 Декабря» и одна книжка моих рассказов, выбранных из нескольких книг, изданных в России, и здесь, в Париже, найденных мною у знакомых.

Рассказывать жизнь нашу по годам очень трудно, почти невозможно, да, м. б., и не нужно: она скорее укладывается в пятилетия. Я буду отмечать, конечно, что было в «первое» время, но было ли то или другое в 21 г., было ли оно в 22-м — это я могу спутать, если даты не важны. Годы событий более или менее значительных я, конечно, знаю. Не особенно значителен, но любопытен был наш (эмигрантский) обед с Эррио и другими французами в Интернациональном Клубе, по почину давнего знакомого нашего Проф. Поля Бойэ — в зиму 1920—1921 года.

Кроме нас и Бунина был там, из русских, не помню, кто, помню только молодого Алексея (Алешку) Толстого, который был тогда тоже «эмигрант», и даже бывал у нас и у других. Кстати, чтобы к этому типу уже не возвращаться, скажу здесь, что это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, *je m'en fichiste* *, при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую Мысль» (в 10—11 году), я отметила его первую вещь, — писателя, никому неизвестного. Но потом в России мы с ним так и не встречались, и что он делал, где писал — мы не знали. Но, должно быть, он не дремал и, если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в СПб-ском моем дневнике отмечен, как один из абсурдов во время войны 14-го года — посылка правит. делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый, почти невидимый «Алешка» и старый знакомец наш, бывший секретарь Рел. Ф. Собраний, Ефим Егоров; когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся в «Новом Времени» Суворина и которого милый В. Тернавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация» — осталось навеки неизвестным.

Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что место сие не злачное и в один прекрасный, никому не известный день исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам и др. С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал — неизвестно еще, как был бы встречен; но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел — и при Ленине, и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званьи эмигранта; встреч с этим сословием он, конечно, избегал, — с честными кругами.

Тогда, в 20—21 году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность, — как от нее без опыта избавиться?

* Вертопрах (фр.).

На том обеде в Интернациональном Клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были речи; говорил, кажется, только Дм. Серг. и Эррио (м. б., ошибаюсь, но помню этих двух). Из русских и некому было выступать: Бунин французским языком не владеет и вообще не оратор. Что говорил Дм. С. — в точности я не помню, но можно себе представить. Речь Эррио была самая любезная, благожелательно-обещающая: «*On ne vous lachera pas*» *, — несколько раз повторял он (французы такие способные ораторы!). После обеда Д. С. и я говорили-болтали с присутствовавшими французскими журналистами и писателями. Помнится, был там критик из Temps, кажется, и Henri de Regnier, высокий, тихий, седовласый.

Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня...»

— Да что же вам простить? — удивилась я.

— Простите... что я существую.

Сказал неожиданно, экспромтом, забавно... Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли.

К тому же первому времени Парижа относятся завязавшиеся связи Дм. С-ча с молодым французским издательством Roche—Bossard. Там издан был, прежде всего, наш сборник «Царство Антихриста», «14 Декабря» Дм. С-ча и еще другие его книги. Потом мой роман «Чертובה кукла» (еще до войны переведенная на французский язык) и должен был выйти второй роман, как бы продолжение первого, вышедший перед войной в Москве, но я уступила очередь Бунину: он тогда только что начинал печататься по-французски и нам с Дм. С. хотелось, чтоб он выпустил не одну, как думал Bossard, а сразу две книжки. (Замечу в скобках, что эта м о я очередь так и не пришла: роман совсем не вышел. Очень скоро у нас наступила крайняя нужда в деньгах, Bossard кончился, Дм. С. стал продавать, за что попало, свои книги другим издателям, а я в газетах зарабатывала такие гроши, что заплатить сразу 1000 Швейермону за перевод мы сочли неблагоприятным.)

Так, довольно смутно, со встречами новыми и старыми, прошла эта первая зима. На лето мы, по совету многих, поехали в Висбаден, оккупированный тогда французами. Там было очень хорошо, — как всегда на немецком курорте. Оккупация ничего не нарушала, население (побежденной страны) было совершенно спокойно, без всякой вражды к оккупантам, даже когда по улицам с музыкой проходили войска победителей.

В Висбадене Дм. Серг. вплотную занялся Египтом — для давно намеченной книги. Мы посетили тамошнюю прекрасную библиотеку. Дм. Серг. пришел в восторг от увесистых фолиантов с рисунками в красках, которые он там нашел. По неумению работать часами где-либо, кроме своей собственной комнаты, он должен был бы от них отказаться, если б не любезность культурного директора библиотеки, который предложил присылать ему выбранные книги на дом. И в дальнейшем

* «Вас не оставят» (фр.).

служитель привозил нам эти книги — так они были громоздки — на тачке, а жили мы в отеле на горе, над Висбаденом, на Нероберге.

Целые дни, после рабочего утра, Дм. С. проводил в густых лесах, кольцом окружающих Нероберг. Признавался мне, что часто даже забывает, что лес этот — «чужой». И правда: так же лес этот был глух, темен, почти дремуч, как иной русский, так же и пахло в нем, — листом палым, грибной сыростью, лягушками невидимыми, свежестью и прелью...

В Висбадене мы получили первую весть, через Варшаву, о моих сестрах. Они живы! Какое было облегченье! К осени — известие, что умер Блок. Подробности его страшной смерти мы еще не знали. Но уже многое видели, что позволяло их угадывать. И я тут же задумала серьезно написать о нем, и мы стали с Дм. С. постоянно о Блоке говорить. Д. С. очень любил его, несмотря на случившиеся между ними споры. Они, между нами и Блоком, всегда кончались благополучно.

В августе в Висбаден приехал Бунин с женой и поселились в том же отеле, на Нероберге. С Буниным, как я уже сказала, мы не встречались лично в России. Он был москвич, а талантливые писанья его, которые мы, конечно, знали и ценили, были как-то не в том течении последнего петербургского периода, в котором находились мы. Теперь, встретившись в Париже, мы сблизились, как разделяющие ту же «юдоль» изгнанничества, притом одинаково (почти) относящиеся к России и совершенно одинаково к большевикам. Но он был человек особого склада, ранее нами близко невиданного — среди писателей петербургских и наших кругов вообще, а потому особенно меня заинтересовал. И вот, я помню, в Нероберге, после ужина, всякий вечер я начинаю с ним бесконечные беседы в моей большой комнате, стараясь рассмотреть его сердцевину, чем он живет, что думает, чему на службу отдает свой талант. Интерес к «человеку», к «личности» вечно толкает меня к таким выяснениям себе того или другого, а если, в конце концов, они мне не удавались вовсе или я ошибалась и создавала себе образ неправильный (что случалось часто), это уж просто у меня «талантишку не хватало», по выражению Д. Ф. А бескорыстных стараний всегда было много.

Относительно Бунина я, впрочем, поняла, по тогдашней моей записи, что «он весь в одних ощущениях, но очень глубоких». И далее прибавлено: «Никогда не забуду, как он читал это потрясающее письмо из Совдепии, подписанное кровью матерей (буквально)».

Это письмо Дм. С. получил как раз в Висбадене. Обращение «ко всему миру» нескольких (больше 20-ти, кажется) женщин из сов. России, с непередаваемо-сильной просьбой, мольбой спасти не их, а их детей, которым грозит духовная и телесная смерть. «Возьмите их отсюда, из этого ада! Мы погибаем, погибли, но это все равно, мы молим весь мир спасти детей наших!» Подписи были сделаны действительно кровью, некоторые углем. Д. С. потом напечатал это письмо, действительно страшное, в русской газете «Общее Дело».

Казалось, мы уж ко всему привыкли, замозолилась душа. Но это письмо не могли мы читать без ужаса. А что же «мир», к которому об-

ращались эти матери? Д. С. сделал много, чтобы вопль этот не остался ему неизвестным. А мир... да ничего. Просто ничего.

В Бунине, казалось мне, при его тончайших ощущениях окружающей внешности, есть все-таки внутренняя нетонкость понимания личности — человека. Кроме того, и в литературе (или шире) он, при большом его таланте, имеет какую-то границу понимания. Он слишком в прошлом. Это я видела в разговорах наших о Блоке. Он его не чувствует ни как человека, ни как поэта. Мне это было жаль.

В Висбадене мы познакомились с Кривошеиным. Министр, не успевший сделаться министром перед революцией, как слишком «либеральный», по мнению Николая II и, главное, царицы. А его очень прочили. Но, конечно, умеренный либерализм его ничего бы не спас. Да и было поздно.

Потом, когда Бунины уже уехали, в Висбаден приехал Гессен из Берлина, редактор уже там основанной газеты «Руль». Дм. С. и я — мы писали в ней несколько раз, Гессен относился к нам недурно, через год издал даже мою книжку последних стихов, но в общем нам было не по дороге: Гессен — партиец, к. д. (мы его знали в Петербурге), газета «Руль» — умереннее, чем в начале миллюковские «Последние Новости». В Висбадене (он остановился там же, в Нероберге), в беседе с нами, он сказал как-то:

— Не могу простить себе, что в начале, только что приехав в Берлин из советской России, я был за интервенцию!

А так как Д. С. и я мы были и в начале, и в конце, и всегда «за интервенцию» — то мы этой беседы и не продолжали.

